

18+

НИКИТА
РОТАРУ

Molchat
Volny

Никита Ротару

Molchat Volny.

Антироман о тонущих

«Издательские решения»

Ротару Н.

Molchat Volny. Антироман о тонущих / Н. Ротару —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-672433-4

Действие происходит в 2010 г. в неназванном российском мегаполисе. Безымянный юноша, которого в различных кругах неизменно зовут Моряком, незадолго до совершеннолетия проходит через утрату старшего брата. Моряк вооружается культурным наследием, оставленным неординарным братом, и сталкивается с типичными вызовами едва ставшего взрослым человека — вуз, безденежье, азарт и любовные страсти... Сможет ли молодой ум перебороть зрелое горе?

ISBN 978-5-00-672433-4

© Ротару Н.
© Издательские решения

Содержание

Часть I: Воспоминания	6
Воспоминание 1	6
Воспоминание 2	8
Воспоминание 3	11
Воспоминание 4	14
Воспоминание 5	17
Воспоминание 6	21
Воспоминание 7	23
Часть II: Вопросы	25
I	25
II	30
III	34
IV	37
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Molchat Volny

Антироман о тонущих

Никита Ротару

Дизайнер обложки Даниил Лысов

© Никита Ротару, 2026

© Даниил Лысов, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0067-2433-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Посвящается морям — внутри и снаружи

Часть I: Воспоминания

Воспоминание 1

«Я так люблю спать... Как ты думаешь, на небесах спят? Если нет, то я не пойду»

Мартин Макдонах, «Человек-подушка»

— Куда ты идёшь в воскресенье?

— А тебе какая разница?

Она умела играть на нервах, когда бывала чем-либо задета.

— Наверное, разница есть.

— А Бога — нет...

Я было прыснул с дежурной юморески, но тут же вернул себе собранный вид.

— Серьёзно, ты что-то незаконное задумала?

— Нет, но это не твоё дело.

Вздыхнул. Говорили мы по телефону — Ягдра, мой товарищ и первый помощник капитана — раздал интернет, который лично у меня давно закончился.

— Всё разрушается твоими руками, солнце.

— А мне кажется, что наоборот, твоими.

Это был первый раз, когда Она что-то от меня старательно скрывала.

— Я ревную.

— Да что ты. Через два месяца свидимся, а?

— Вернусь, а ты беременная.

— Может, я уже...

Здесь мои щёки загорелись.

— Шучу, не напрягайся.

Фух...

— И всё же. Мне попросить кого-нибудь за тобой проследить?

— Можешь, но это будет оскорбительно.

Ягдра, слушавший всё это по громкой связи — на нашем корабле нет секретов от коллег по палубе, завет такой, — тихонько хихикал.

- Ты никогда ничего не скрывала, поэтому я напрягся.
— Ну, расслабься, что тут скажешь.

Здесь шхуна накренилась так, что телефон слетел со стола. Связь пропала, разговор прервался.

- Напомни, что ты в ней нашёл? Мозги делает только так. — Протянул Ягдра.

Рослый качок, любящий Шекспира и подаривший мне карманную Библию, которых у него зачем-то несколько штук, — Ягдра был прямолинейной и обаятельной язвой.

- Не знаю, любим друг друга. — Кинул я в ответ.
— И теперь она задумала крутить какие-то мутные шашни, пока ты здесь, на другом конце земли.

Испытующе взглянул на меня, и я поддался.

— Если ты намекаешь на откровение, на то, чтобы я выложил всю историю наших взаимоотношений, то не в этот раз, — беззлобно улыбнулся. — Просто... мне важно знать, что с ней всё в порядке, как и ей обо мне.

- Когда-нибудь я постигну ваш лор...
— Ягдра!

Клич Капитана — мужика с одним глазом, почти пирата по наружности и, в общем-то, по содержанию — выдернул моего товарища из праздной болтовни. Ягдра выметнулся из каюты, оставив меня в одиночестве.

Трудно, видая мир, оставаться моногамным, но мне удаётся. С Её стороны — домашней, едва не затворнической — новые знакомства могут быть полезны.

«Пусть ищет себе друзей» — рассудил я наконец. За окном каюты плыла ночь, и над тихо качающимися волнами нависло полуприкрытое око луны. Она подмигивала мне, казалось, издевательски и понимающе при том. Серые хлопья облаков — перистые вблизи, грозовые вдалеке — наводнили иссиня-чёрные небеса, и невидимый-неведомый Господь готовился сыграть луной в крикет.

Я поднял телефон с пола и сделал фотографию. Вдалеке от городов, в сотнях морских миль от цивилизации, ночное небо было ярче, и небесный контраст углублялся угольной полугладью Индийского океана. Как снова будет свободный час, отправлю Ей.

Воспоминание 2

«И благодаря тренировке ему не требовалось прикладывать никаких усилий для того, чтобы знать без тени сомнения: он — не кости, плоть и перья, но сама идея свободы и полета, которая совершенна по сути своей, и потому не может быть ограничена ничем»

Ричард Бах, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

— Гляньте-ка! — Василина, женщина неопределённых лет (острый, как кромка ножа, подбородок, квадратные очки в железной оправе) размахивала двумя листками перед собравшимися. — Наш Моряк снова написал о неразделённой любви. Снова, не опять.

По классу прошёлся ехидный смешок. Моряком меня окрестила Василина, когда я, ещё не зная о характере этих собраний, поделился с ней планами на взрослую жизнь.

— Сколько тебе раз нужно повторить, малыш. — Якобы снисходительно обратилась она ко мне, затем торжествующе развернулась к собранию. — Это не просто дерьмовое...

На этом слове смешок порывисто перерос в гогот.

— ...клише, это целая ассенизаторская карета из китчей, бесталанных оборотов, отсутствия намёков на стиль или хотя бы сюжет. Забыла о кавычках апострофами и... как ты там это называешь?

— Кучеточия.

— Ах да, кучеточия. Вот, ребята, настоящее новаторство! Маяковский бы обзавидовался... Что там Маяковский — нас посетил новый Андрей Белый!

Безликие гиены глодали мой труп.

— Скажи, — псевдо-заботливым тоном произнесла, — ты правда хочешь стать писателем?

Нам было по пятнадцать-семнадцать всем здесь, за исключением Василины — доцента, кандидата филологических наук, в свободное время ведущей литературный кружок при моём лицее. Любимой фразой Василины была цитата Ницше — «падающего подтолкни», она же была выгравирована кудрявым шрифтом над доской. Я был не в силах что-либо предпринять.

Да и что я мог? Средства мои были бедны, это верно.

— Может, тебе лучше рассмотреть другой способ выражения? — продолжала сыпать соль. — Музыка, например...

Снова смешки. Писательство считается благородным и бедным делом — ни миллионы на съёмку и отлов кадров на камеру, ни оборудование и студия, ни какая-то другая особенная подготовка не требуются. Сядишься, пишешь — либо просто мыслишь в писательском ключе — даже этого достаточно, чтобы сотворить, настолько лениво и непритязательно это дело. Но — писательство ли, музыка, скульпторство или смешные видео не длиннее шести секунд — всё оно, ремесло, творчество либо искусство, сводится к поиску идеальной формы, к нескон-

чаемой пытке, к асимптотическому совершенствованию в мире, где ценятся напрасные усилия по движению к недостижимым пределам. И почему так называемые «ценители» скользят по форме, как по илистым волнам, цепляясь за ил, не пробуя и не намереваясь найти в нём, в глубинах его, в недрах волн, жемчужину? Под жемчужиной я понимаю сияющую, как первый свет, сущность, средоточие души, центр человека как явления, идеи во плоти, потерянный и вновь найденный рай, Божью искру, в конце концов. Да, средства мои никакущие, но я пришёл сюда за участием, не за гладиаторской ареной или аукционом Сотбис, не за азартом кровопролития, но за единением — духа, мысли. Я не имел желания быть интересным ни миллионам, ни тайному кругу избранных, я лишь был истерзан потусторонней жадой жемчужин, которую пробовал утолить, и пока — по юности лет — не мог понять пресыщенных и пьяных. Отчего мы довольствуемся лишь илом в чужих творениях, разделяем их на сорта, градации по качеству, консистенции, процентному содержанию водорослей и планктона, флоры и фауны? Оттого ли, что бережём свои мысленные звёзды настолько, что опасаемся столкнуть их с Другими — ненароком вызвать взрыв — и бросаемся илом, как калом, вместо?..

— ...что скажешь? Ты здесь, с нами? Завис. — Василина позволяет себе усмехнуться и тем самым провоцирует новые волны смешков.

— Да... Вы правы. Наверное, попробую себя в музыке.

Удивлена, ножеподобный подбородок встrepенулся.

— Уверен? — Берёт себя в руки.

Коли так, мне остаётся оберегать свои прохладные галактики от внешнего пекла, от беспорядка и энтропии, оставаться загадкой без ответов с обратной стороны, быть вещью, но - в-себе.

— Да, я переведусь.

Молчание накрыло класс — литературный кружок был наиболее престижным в лицее, покинуть его значило расписаться в своей социальной несостоятельности. Никто не уходил из него добровольно...

Позже я обнаружил, что бью кулаком по сизой ракушечно-бетонной стене лица, удар за ударом. Уроки давно были окончены, и не было ни единого свидетеля моей агрессии.

Конечно, не этого мне хотелось, да и музыкой заниматься лучше всерьёз — надо было в музыкальное, к частным преподавателям, на которых — опять же — необходимы средства. Мой отец — хмуроватый скряга, жена его — и моя мать — лучезарная транжира, в их тандеме не нашлось места на потребности третьего, пока ещё не полноценного, несовершенного. Я наносил беспомощные удары костяшками по ракушкам и спрашивал себя: как избавиться от проклятых асимптов, как проникнуть за грань их, чтобы идея и форма стали одним, где мне отыскать средства, чтобы отпечатать свой свет на косых облаках, на тени от них, что я хотел бы этим светом обнять, каковы масштабы грядущего светопролития — всего этого я не знал и, конечно, в момент неравного избиения — здание и сутулый парниша — думал несколькими категориями. Мне было, сухо говоря, больно и обидно, что никто, ни одна душа, не разглядела во мне что-нибудь этакое...

— Эй.

Так мы с Ней познакомились. Я был разъярён и едва не рыдал, Она выходила с кружка икебаны, задержавшись. Не знаю до сих пор, примерила ли Она на себя роль спасателя, пожалев и выслушав, — я не стеснялся выражений — или в тот пиковый момент, когда я чаял хоть какой-нибудь душевной связи, судьба подкинула нас друг другу.

После я провёл Её до дома, в котором спустя время мы станем жить вместе.

Воспоминание 3

«What goes around — comes around, comes around...»

Justin Timberlake

Я заехал за вещами, мы в очередной раз «расставались».

— Это всё? Последнее прощание наше? — казалось, слезы на её глазах говорили вместо неё.

— ...

Мои глаза были почти сухи, как помятый тетрапак.

(Любит она драму)

— Ты решил поиграть в молчанку? Я выскажусь.

— Ну.

Я принял стрелу её взгляда и стал выслушивать то, что слышал N «расставаний» назад:

— Я устала тянуть на себе всё, честное слово, я как ломовая лошадка. Что за отношения, в которых один партнёр сбегает ровно тогда, когда другой в нём нуждается? Вот куда ты теперь собрался?..

(Сегодня я должен был выходить в рейс)

— ...лишь бы подальше от меня, да? Разбирайся, любовь моя, сама — и с ремонтом, и с матерью на пенсии, которая, между прочим, наша с тобой ответственность! У неё дом сгорел — думаешь, я одна должна с ней возиться? Мы давно вместе, и я благодарна тебе и всё такое...

— Но?

Ремарка вывела её из речевой прострации. Обстановка была бытово-драматичной — стоял золотой час, и её предистеричное состояние на пару с моим безразличным ожиданием окутали соломенные лучи солнца. Я ходил по дому, собирая вещи в походный рюкзак, она за мной, а за нами поспевали наши тени.

— Что?

— Ты, кажется, сказала «но».

— Я, кажется, не говорила «но»... — Замялась.

— Ты бритву мою не видела?

(Поймал ещё стрелу, возобновив тем самым прострацию)

— Какая к чертям бритва! — Схватила за руку. — Ты не видишь, что мне плохо одной, что я не справляюсь — тебя полгода нет дома! Может, ты там с какой-нибудь молодухой рассекаешь, а? Может, и не с одной.

Я мягко отстранился.

— Если ты разлюбил, имей смелость сообщить.

Глубокий вздох...

— Ты права. В каждом из портов я кого-нибудь да цепляю.

— Снова клоунадничаешь?

— Нет, я предельно серьёзен.

Теперь вздохнула она. Солнце закатилось за стеклянную многоэтажку, дома стало темнее.

— Подумай. Ты мог бы устроиться к отцу — здесь, рядышком. Жили бы вместе, я и ты. Так сдалось тебе это море?

— Ты же знаешь.

— Я не смогу так больше. — Снова слёзы. — Отмени всё, не уезжай. Я скучаю по тебе...

— Это работа.

— Обними меня.

Пришлось обнять.

— Пообещай, что я дождусь твоей пенсии.

— Всякое случается.

— Я переживаю за тебя...

Я нетерпеливо отстранился.

— Ну, куда ты...

— Пора уж.

Закинув рюкзак на плечи, я бросил ей, как привык, негромкое «пока» и вышел.

Во дворе играли дети, под надзором родителей, бабушек. Вчерашний дождь разродил асфальт лужами, ещё не успевшими испариться.

Я снял рюкзак, положил у ног и аккуратно плюхнулся в самую глубокую на вид лужу. Гражданская одежда вмиг пропиталась вкрадчивой сыростью.

Лужа оказалась совсем не глубокой.

— Мам, смотри, пьяный дядя! — Мимо прошла двоица из серолицей мамочки и её сына.

Я улыбнулся и помахал им. Мамочка, вёдшая сына за руку, засеменила быстрее.

Попробовал взмахнуть руками, слегка расплескал кругом мутную воду. Напротив повисло небо, в котором только зажигались звёзды — со шхуны, особенно в безоблачную ночь, они кажутся такими близкими, что можно рукой коснуться. Я размышлял о нашем с ней странном союзе, предвкушал рейс...

В какой-то момент я поднялся, отряхнулся, взял рюкзак и ушёл прочь, навстречу морю.

Воспоминание 4

«Всё, что нужно пацану, — немного удачи. Всё же есть некто, кто контролирует, чтобы все получили свой шанс»

Чарльз Буковски, «Хлеб с ветчиной»

Я сидел на складном стуле, окружённый кафелем в трещинах, под лампочкой на волоске провода, с гитарой Yamaha C-40 в руках и с недоверием глядел на протянутую мне рыжую купюру.

От владельца руки, подавшей купюру, несло смесью перегара и морепродуктов. Одет он был бедно, но со вкусом (светлый пиджак с заострёнными лацканами, вычищенные, пусть и поношенные, туфли), был слегка небрит, но солиден.

— Ты, пожалуйста, добейся, — проникновенно изрёк он, просто так отдающий сумму, на которую я мог жить целых две недели. — Иначе я найду тебя, где бы ты ни был — и потребую деньги обратно.

Здесь я вспомнил Воланда...

— Хо... Хорошо. Я очень постараюсь, эээ... Как могу к вам обращаться? — Я смутился до дна души.

— Во-первых, о стараниях речи не шло — добейся или сам знаешь. — Подмигнул так, что по шее прошёлся озноб. — А во-вторых, Казимир...

Пожали руки, я представился Моряком.

— Кантемир?

— Казимир. — Добродушно посмеялся. — Металлику знаешь?

К тому моменту я, не дождавшись карманных от родительской четы, уже месяц зарабатывал их в подземных переходах, на братовой ямахе. Брат, старший, однажды уехал в кругосветное путешествие и пропал, последняя весточка от него была выслана где-то в порте Манта, судя по маркам. В семье о нём не вспоминают, как о неудавшемся проекте, а мне, напротив, кажется, что он обрёл счастье — где бы он в эту минуту ни был.

Я рассказывал о старшем брате Ей. Уже тогда Она встревожилась от примерно такой пары реплик:

— Как бы я хотел быть, как он.

— Бросить семью, всё и жить, как какие-то битники или богема? Умереть, вероятно?

— Умирать я не планировал.

Но виду не подавала. Было трудно говорить о брате с кем-либо, кроме Нёй, — это виделось моим личным, моей галактикой, которую иные, ушлые, непременно попытались бы разъять, объяснить, опорочить и монетизировать, стереть из космоса и предать забвению. Но с Ней я забывал о дистанции, о своих асимптотах, о красных линиях, проведённых между мной и

остальными представителями человечества; с Ней мы стали почти цельным, почти единым существом — и Она так же, как и Казимир, любила Металлику.

— Знаю парочку песен.

— Ладно, это я так, праздные вопросы... — Похлопал меня по плечу. — Бывай, Моряк.

Он подмигнул мне, развернулся и оставил наедине с мыслями о том, был ли он на самом деле или я, как со мной временами случается, выдумал эту сцену от скуки и отсутствия «живых» людей в потоке торопящихся домой. Рыжая купюра, впрочем, была реальной и, кажется, не фальшивой — на ней, в переходном полумраке, словно светилась надпись «Две Недели». Остаток вечера, пока пальцы левой руки не устали зажимать баррэ, я считал пришествие Казимира наваждением — уж слишком по-литературному, по-творчески сложилась — как карточная — обстановка.

Чтобы развеяться, я разыграл одну из двух известных мне на тот момент блюзовых гамм:

— Ту-таа, ту-ту! Ту-ту. Ту-ту. Та-та, та-та-та. Ту-ту. Ту-ту...

Акапелла вырвалась из меня сама по себе:

— Мне дали пять тысяч!

(ту-ту, ту-ту)

— Совсем ни за что.

(ту-ту, ту-ту)

— Я их не заслужил.

(ту-ту, ту-ту)

— Теперь в должниках...

(ту-таа, ту-ту)

— Мой первый кредит.

(ту-ту, ту-ту)

— И нужно добиться!

(ту-ту, ту-ту)

— Не знаю, чего.

(та-та, та-та-та)

— Я вечный моряк!

(ту-ту, ту-ту)

— Я вечный моряк.

(ту-ту, ту-ту)

— Я вечный моряк...

(ту-таа, ту-ту!)

Парочка девушек, хихикая и о чём-то болтая, прошла мимо и бросила в гитарный чехол мелкую купюру:

— Bravo! — сказала одна, другая захохотала. Далее они шли и оглядывались, пока не скрылись.

Чехол был скудно присыпан жёлтыми и синими купюрами и несколькими монетками. Её мать на даче — на всё оставшееся лето — и я смогу принести Ей, помимо своей уставшей тушки, еду из выпендрёжного магазина по пути и Её любимые пионы.

Рыжую купюру я, подумав, отправил в резонаторное отверстие гитары — на удачу.

И пусть через месяц начинается учёба, всё же жить — здорово.

Воспоминание 5

*«Что вы хотели бы знать о моём старшем брате?
То, что не было его, — да, это правда...
Скорее всего, я его придумал когда-то»*

Я и Друг Мой Грузовик

Мой брат был бабником с тех пор, как я его помню.

Ещё он был... талантливый или, чтобы не клеветать, способным. Именно он занимался моим просвещением, подкидывая книги, музыку, видеоигры мне не по годам, да и просто находясь рядом. Спустя годы в нём мерещится человек-пароход, человек-аэростат даже, которому облака милее, чем горы, долины и низменности.

Каждая очередная его девчонка пробовала быть мне матерью.

— Ты поел? А что читаешь?.. Ого, Драйзер! Я вот не осилила, — бомбардировала вопросами Очередная, зашедшая к нам домой.

— ...

— Ну, чего ты хмурый такой... Ты, кстати, на него похож, так похож! Вы случайно не близнецы?

— Он на десять лет старше.

Каждая Очередная, как под копирку, замечала факт нашего сходства. Мы с братом в самом деле походили друг на дружку — шатенисто-рыжие волосы, большие зелёные глаза, сутулая высота на всех как одни выдавали наш род. Однако брата, помимо колоритного фенотипа, выделяли его харизма, фантастическое жизнелюбие, трикстерская хитрость и удача.

Люди к нему тянулись. Однажды (мне тогда ещё не стукнул второй юбилей) он позвал меня в город с собой, «аскать» в одном из парков. Аска́ть — от ask — это брэнчать песни за небольшие жертвования; позже этим буду зарабатывать и я.

Своей фирменной, обклеенной стикерами Yamaha C-40 брат магнитил людей и даже бродячих животных. В этот раз было так же: происходил карнавал выходного релакса, дружелюбия, музыки и уличного искусства — люди делали фото, снимали видео, знакомились — иногда кто-нибудь просил поиграть, и брат послушно отдавал гитару новоиспечённой звезде сцены.

Всё шло мирно, пока...

— Эу, пацан. — По-видимому, ко мне обратился приземистый мужичок в сером остром козырьке и чёрной олимпийке. — Ты чей бушь?

— Ну, мой он. — Откликнулся брат со скамейки, пока кто-то из зрителей пел цоеву «Кукушку».

— С тобой мы ещё погута́рим, — отозвался пришелец и снова обратился ко мне. — Ты слышал, что это место Пятого? А ты тут встал, мелочь.

— ..? — Я втянул голову в плечи и попытался вообще перестать занимать пространство.

— Ну, чё притих, плати. Это платно, понимаешь? — И присвистнул.

- Жек, это мой брат. Младший. Отвянь. — Брат поднялся со скамьи...
— Не заводи шарманку, братух. У тебя деньги есть, мелкий?

Разумеется, денег у меня не было. С чего бы этот индивид проявлял ко мне такой интерес?..

- Понятно. — Протянул Жека. — Ну, придётся стрясти с твоего братишки...
— Погодь, погодь. — Брат живо одёрнул потянувшегося к чехлу бандита. — Есть другой вариант.
— И какой же? — Жека хмыкнул.
— Жек, если у тебя выходной, и тебе нефиг делать, можешь взять моего брата в аренду.
— Чего?..

Чего?..

— Покатай его по городу, Расскажи про жизнь воровскую или что у тебя там. Разрешаю, только верни его целым. Проверю. — С хитрым смешком проговорил брат...

...и так я оказался на заднем, пахнущем старым кожаном и спиртом, тесном даже для девятилетнего сидении БМВ с Жекой за рулём. Мы ехали по главной улице города, и Жека рассказывал шокирующие подробности о почти каждом его здании:

— Видишь, вон там с серпом и молотом домик? Мы там кароч с парнями в девяностых казино организовали в подвале. Вход только своим. Сколько клея было вынюхано, ох...

— А на этой высотке мы как-то Настю Магеллан по кругу пустили, на крыше... Знаешь, почему такая кликуха? Она пересосала море членов, вот почему.

— Вон там, глянь, сквер с одним фонарём. Мы кароч с парнями этот фонарь тырили на чермет четыре раза, и все четыре раза он появлялся снова. Коммунальная магия, не иначе.

Из магнитолы играл какой-то зарубежный хип-хоп, выпущенный ещё до моего рождения. Похожий мне ставил брат — помимо драм-энд-бейса, танцевальной в стиле *Dereche Mode*, сизтлловского гранжа, дарк- и лайт-вейва, мат-рока, микротональщины, споукен ворда, тайных бардов, полевых записей — в общем, что он только не ставил. Ещё дрожа от обстановки и её сюрреализма, я решил поддержать разговор:

— А это какой из Асапов играет, не знаете? — Шустро проговорил я и испугался.

— О, я вижу юного ценителя... — Протянул мой спонтанный сюзерен и рассмеялся. — Это Роки, можно сказать, классика. Каких ещё знаешь?

— Эээ... — В этот момент я, конечно, напрочь забыл про всех остальных. — Ну, Снэкс ещё...

— Снэкс — наркоман и предатель. — Вдруг холодно отрезал Жека. — Давай другого.

Глаза забегали, но страх, который глодал меня до сих пор, отступил. Кажется, несмотря на антураж, я был в полной безопасности.

— Нуу, эээ, он не Асап, конечно, но Плэйбой Карти ещё вроде у них был... — Я совсем замялся.

— Да лан тебе, я так, прикалываюсь. — Вновь рассмеялся Жека и повернулся ко мне. — Слышь, малой, а о чём ты мечтаешь?

Вопрос грянул грозой, но у меня давно был готов ответ, который я, не задумываясь, выпалил:

— Хочу пойти на Эверест.

— Тю, малой! Это ли мечта? — Жека махнул рукой. — Там же вседохнут, как мухи.

— В смыследохнут?

— А вот... — Жека задумался. — Кент у меня был, пошёл в Альпы. Там его палатку молнией и пришибло...

— Светлая память.

— Молодой был, совсем как твой братан. Эх, да, светлая память.

Мы свернули с главной улицы в какой-то двор и остановились у входа в подвал. Горела, без буквы «ю», красная надпись «Рюмочная».

— Ща, погодь минутку, надо заправиться. — Бросил Жека и вышел из машины к подвалу, скрывшись на ступеньках.

Я прислонился к стеклу виском, под ритмы очередного Асапа, и размышлял о новом занятом знакомстве, которое устроил мне брат. Как давно они знакомы? С какого чёрта родной брат доверил меня какому-то проходимцу? Ответов я не знал, но мне мерещился некий братов замысел, проба провести меня за грань привычного, в мир лёгкого безумства, непосредственной игривости, которыми мой брат всецело жил. Хотя я понятия не имел, чем продолжится день, я доверял моменту и ничуть не тревожился.

— Так, малой, ну, за тебя и твоего брателлу. — Вырос передо мной Жека, хлопнув дверцей.

— Вы уверены, что это безопасно... — начал я, но тут же был одёрнут.

— Ты мусор в штатском чтоль? Это, скажем так, фронтовые, для храбрости. — Жека оглянулся, затем поднёс рюмку с зелёной жидкостью к губам и разом осушил. — Ух, блин, хорошо! Кстати сказать, это моя рюмочная.

— Правда? — Я уже ничему не удивлялся.

— Ха, не верит! Смотри, — на этих словах Жека приоткрыл дверцу и с размаху бросил пустую рюмку об асфальт.

Подождали, но никто разгневанный порчей имущества к нам не вышел.

— М-да, из своего кармана забрал, но теперь-то уверовал? — Подмигнул мне Жека.

— Я агностик. — Выдал я и опять испугался.

— Тю! — Мой компаньон заливисто хехекнул. — Ты так не говори, малой. Я вот верующий.

Мы с братом всегда устраивали беседы на тему книг, которые он давал прочитать. Я вспомнил одну такую, по детской Библии, и мне хватило такта промолчать.

— Всё же, есть кто-то, кто запустил нашу кутерьму. — Жека немного понизил голос. — Мир это, как его, персефо... персофици...

— Персонифицирован? — Подсказал я.

— Да-да, вот эт самое слово. А ты смышлённыш не по годам! Сразу видно, чей браток. — Жека усмехнулся.

— С-спасибо... — Пробубнил смущённо.

— Хошь, чёт твоё поставим, а?

На этом моменте я позабыл о каждой песне, которую когда-либо слышал, кроме одной.

— «Медс» от Плацебо можно?..

Воспоминание 6

«Baby... Did you forget to take your meds?»

Placebo

Я помню обитель *странности*: вязь пролетающих птиц, бетонно-кафельные монолиты, канифольный скрипичный звук болезненно-жёлтых плит. Упущенные умы по углам косматых коридоров делают мнимых ангелочков в обломках своих судеб. Фигуры в избела-лазурных халатах шелестят мимо, источая неземную скорбь сквозь маски лиц.

Неуклонный, выцветший голос насаждает сквозь прикрытую дверь с золочёной табличкой «заведующий отделением»:

— В нём слишком много...

Личный круговорот боли матери замыкается стократ услонённой мухой вдоха.

Муха ловко залетает в приоткрытый от незнакомой тайны, таинственного незнания рот; гибкие мысли-отроки подступают к засыхающему краю загадки, не осмеливаясь начать осаду... В ту же секунду в глубинах коридора, в кластере палат, рождается треснувший, истерический смех.

Мир трескается, муха бьётся в истерии чьих-то голосовых связок (моих разве?); слишком много, слишком много, слишком много. Кажется, нужно ещё одно действие, лишь одно, одно-единственное, чтобы завершить причинно-следственную триаду и выломать ящик Пандоры изнутри, — но кто подскажет, что нужно совершить в этот момент (убить Кеннеди или шевельнуть пальцем ноги), обратим ли доминошный декаданс, станет ли мир делать ангелочка в собственных осколках — а если не станет, то есть ли смысл его разрушать...

Выходит мама — внешне уверенно, внутри покачиваясь — не трещина, но явный надлом. Я вижу её изнанку — всегда видел изнанку вещей, мне казалось, — она растеряна, как сироты Борея, размыта, как пляска пальцев Пана по флейте и... подавлена? Брови в меру пощипаны, вид умеренно-несчастный — она так хотела растянуть себя на поколения вперёд... Она ни за что не сыграет в гляделки с бездной, при её ответном взгляде зажмурившись изо всех сил;

знает ли она, кого растит?

Она встаёт передо мной на колени, вежливо обнимает за плечи, скрывая улыбкой отречение (от речки, от меня, от себя ради меня?). Я гляжу в ответ её — тёплому, земному — взгляду — гляжу потусторонне — и не понимаю, кто из нас

по
ту
сторону
абсолютного нуля.

Её надлом достигает пика (его незримые мушки пролетают над нами вязью), она плачет на монолите моего плеча, косматым плачем щекоча болезненно-жёлтые щёки.

Я смущён и не смею рассказать, что сегодня меня усыновили музы.

Воспоминание 7

«Из этого видно, что я был ещё совсем мальчишка»

Фёдор Достоевский, «Записки из подполья»

«Если сюда ткнуть капю, а бас чуть подтянуть — не в тон — то кик придётся целиком переделывать. Так, подожди...»

Мне было семнадцать, когда брат насовсем пропал. Уехал он без денег, путешествовал автостопом, даже гитару свою оставил, чтобы его ничто не тяготило. Это было последнее путешествие лишнего человека, по иронии нужного, путешествие сродни паломничеству, искуплению неназванных грехов, опасное и неблагоразумное хождение по миру, которое он затеял ради того лишь, чтобы заявить свою волю. И вот, наконец, он перестал выходить на связь.

В семье эту новость восприняли с... облегчением.

— Пельмени на тебя варить? — Высовывается голова отца из дверного проёма.

— Ой, а может пиццу закажем? — Вслед за ним вырастает мать.

И оба таращатся на меня, словно ждут чего-то. В тот момент я был занят знакомством с Fruity Loops, пиратской расширенной версией, и этот мир — включая родителей, гитару, лицей, писательство, море и даже Её — мне этот мир был абсолютно понятен, и меня интересовало только одно: покой, умиротворение и слияние с бесконечно вечным понятием Музыки, к которой я, как неофит-дилетант, лишь подступал, трусливо подкрадывался, опасаясь облажаться, испортить её мистирию, её секрет. Последний раз, как мы общались, брат скинул мне файлы в формате wav — две композиции в жанре пост-хаус, как я определил. Это показалось аналогом завещания, чем-то, что мне предстоит доработать — или, точнее, стать преемником. Родители продолжали пялиться, и мне как-то дико захотелось бросить им «идите, суетитесь» — но пришлось сдержаться.

— Как хотите. — Коротко бросил я, не поворачиваясь.

— Всё за игрушками сидишь!.. — Охает мать, но её одёргивает отец.

«Не мешай» — слышу его быстрый шёпот.

Затем последовал осторожный хлопок двери.

После исчезновения брата моё родство с семьёй резко перетекло в отчуждение. Мать, экспрессивная натура, отец, кремень и громоотвод, — они стали казаться слишком... земными, и я невинно полагал, что нас с братом подменили, подкинули, несмотря на общую на всех зеленоглазо-сутуло-рыжую наружность, — полагал, пока не увлёкся генетикой, найдя в ней рациональное, более горькое оправдание. Вероятно, рецессивные гены *странности*, дремлющие в наших с братом предках, подобно Давиду одолели доминантных Голиафов конформизма, в результате чего мы с ним получились отпрысками в самом скабрезном смысле слова, аппендиксом нашего рода, ответвлением, никуда не ведущим. Мне отчаянно хотелось не верить в эти выводы, но вера опутала меня, как чёрная вдова, и никакие доводы, призывы к чувствам, к кантовскому долгу перед семьёй, Ней и Человечеством, не могли вынудить меня веру сбро-

силь, как одежду, обнажиться перед суровой правдой. Трудно менять богов... Я очутился в лимбе, как некрещёный младенец, и выход из него мне только предстояло найти.

На третий день после того, как отец сказал «он не вернётся», я заявил родительской чете о желании пойти в моряки. На девятый день я открыл братовы wav файлы в каком-то агрегаторе. Ровно на сороковой день после отцовского высказывания — зачем-то вёл подсчёт — появилась Она, и я впервые с исчезновения брата притронулся к священной Yamaha C-40.

Но то хронология. На момент я был целиком в работе:

«Хэты не в тему»

«Бас поупруже надо сделать»

«Интересно, где он взял этот сэмпл...»

«А это какая тональность? На ре-минор не похоже»

«Как бы я хотел быть, как он»

На последней мысли я вздрогнул. Она привыкла к моим, так назовём, уходам в тень — сейчас я проживал именно такой уход, но выдержат ли наши отношения дальнейшее плавание? Я хотел пойти разнорабочим на какое-нибудь рыболовное судно — мать категорически отвергала затею, отец предлагал хотя бы получить высшее судоводителя; Она же, узнав о моей потере, мягко вздохнула и после долго меня обнимала:

— Ты планируешь всю жизнь плавать?

— Я не знаю... Зовёт меня что-то.

— Скучаешь по нему?

Больше мы с Ней пока не виделись. Лицей я забросил — отец иногда заходил ко мне сообщить о каком-нибудь академически-гневном письме. Приличия ради, я просил отца поговорить с переводом на домашнее обучение, но мы оба знали, что обучением некому заниматься: я чересчур молод, чтобы определить себе верное направление развития, он — уже развит и давно устал для того, чтобы его определять. Мать — жовиальное, нервное создание — не вмешивалась, словно опасалась сбить с пока не взятого следа, творец и назначение которого и для меня были тайной. Её милая, стройная, светская картина мира заимела две вульгарные, широкие, глубокие царапины, одну из которой она ещё была в силах зашить — если бы мы знали, как зашить, какого цвета должны быть нити для операции, критична ли для них стерильность и не пора ли констатировать смерть...

— В тебе слишком много... — повторял отец, и я не знал, куда деть Кьеркегора и Стриндберга, Фукидида и Акутагаву, досократиков и схоластов, структуралистов и адептов абсурда, как обращаться с наследием брата так, чтобы не навредить ему, не навредить себе и родным, родителям и Ей, всем тем джентльменам и леди, подарившим мне сквозь дистанцию лет свои жемчужины, свои галактики. Я был слишком несмел и наивен для своей последней жизни.

Оставались два действия, два акта: уйти в море и заняться музыкой.

Часть II: Вопросы

I

«Нужно обладать стойкостью и в пороках, и в добродетелях, чтобы удержаться на поверхности, чтобы сохранить взятую скорость, которая необходима нам, чтобы сопротивляться соблазну потерпеть крушение или разразиться рыданиями»

Эмиль Чоран, «Признания и проклятия»

На судоводителя я всё же поступил. То была отдельная история, обошедшаяся не без драм, но без скандалов, — отец проявил характер и поставил условие:

— Хм, сын. — Помню, как мы стояли с ним на кухне. — Ты всё-таки решил пойти в матросы, да?

— Да, решил. В моряки.

— Тогда — если ты не совсем дурак, конечно — ты должен понимать, что мы с мамой на тебя рассчитываем.

— В плане? Что буду вас обеспечивать потом?

— Нет... не в этом плане. — Он на мгновение смутился, но вернул себе солидный вид. — Я знаю, ты любишь шутить про «запасного ребёнка», но это твоя жизнь, и тебе её жить. Я хотел напомнить о твоей пассивности.

Здесь, помню, сердце — или показалось? — странно ёкнуло.

— У меня тоже есть пассивность — твоя мама. Не буду нагнетать и говорить, что она не выдержит, если и твоя жизнь куда-то покатится, но... подумай о Ней.

Он подчеркнул последнее слово, слегка понизив голос, — будто знал, как я к Ней отношусь, — и мне виделся трогательным тот ключ, который он подобрал к решению моего морского вопроса. Должно быть, он не имел в виду Её, имел в виду мать, и, наверное, мне показалось, но этот разговор двух мужчин напомнил о уже моей молодой семье, и в тот момент я как-то оставил беспечные мысли об иллюзорной романтике мальчика-помогалы на борту корабля. На деле — и я это знал заранее — сей вариант поставил бы не оглушительное многоточие, а продолжительную точку на моей одичалой жизни.

— Эээ, хорошо. — Пробубнил я, смутившись.

— Нельзя быть мизантропом долго и безнаказанно одновременно, это как ехать по встречной. Скоро ты это поймёшь.

— ...

— Сделаем так, — подхватил отец, — я всё же переведу тебя на домашнее. Но подготовка к выпускным экзаменам полностью на тебе, ладно?

— Ладно. — Откликнулся.

— Если нужен совет — я всегда рядом. — Затеяливо подмигнул и покинул кухню.

Так я оказался на крючке, задержавшем моё свободное падение. Дело предстояло простейшее — сдать экзамены, подобрать вуз, дожидаться поступления и далее по списку... Это

«далее» повисло надо мной солнцем, воротами лимба, и выбираться из последнего следовало собственными усилиями, своим трудом.

С трудолюбием после исчезновения брата у меня образовались читаемые проблемы по типу «умный, но ленивый» — серой фразы, которой клеймят всех *странных* без разбору, фразы, которой достаточно для полной демотивации при обратной интенции, фразы, являющей собой пресловутое ведро с крабами. Мы тянемся к свету, к единению с Человечеством, к хорошему, милому и приглядному, к аристотелевскому идеалу человека, в общем, тянемся ввысь — здесь нас накрывает чья-нибудь бескомпромиссная клешня, утрамбовывая обратно на дно, в лимб. Иные, непрочные душой, находят в нём последнее пристанище и принимаются жалеть свой утраченный потенциал в заунывных декорациях до самого скончания (мысленный лес, терра инкогнита) — так свирепая эволюция отсеивает неудачников, сбрасывает социальный балласт, очищается. Я постановил, что мой экзистенциальный кризис не должен касаться никого, включая меня, что встречу Её по ту сторону врат и что аскеза — благородное отречение, служение идее, самооскопление в некотором смысле — это либо гордыня, либо трусость, либо всё разом. Так, наркоманы, трудоголики, моряки и монахи — все, в общем-то, отрекаются, гордыня — непобедимый грех, трусость — инстинкт, и при подборе способа, как делить с ними быт, человеку социальному, *persona socialis*, остаются два ориентира, две оси: социальное одобрение и собственное самочувствие.

Проблемы с трудолюбием носили скорее характер гордыни, нежели трусости — меня ничуть не увлекали ни кукольная драма экзаменов, преподносимая как финальный выход из колыбели инфантилизма, ни пре-поступательный мандраж, ни мой статус как самостоятельной единицы общества. Дело было в отрицании труда как явления, как неэффективного орудия, поминутно унижающего человеческое достоинство, тотально неуважительного и к хроносу, и к эону, божественному времени. Меня до колик в висках раздражала непреложная необходимость дисциплины, её высшее общественное одобрение и кажущееся самочувствие её последователей — настолько живыми, неуязвимыми, бодрыми и принадлежащими обществу они воспринимались, что мне хотелось плюнуть на концепты старания и упорства, лишь бы не стать, как они, — очередным «доказательством» всеторжества труда в случае моего успеха либо, что вероятнее, очередной ступенькой на лестнице успеха чужого. Хотелось быть тем, кто парит над лестницами, а не шагает по ним или строит из собственного тела, тем, кто валит слона одним метким выстрелом, а не методично глодает его по крошечным кусочкам, — и этой чайной чепухой я оправдывал свои безделье, лень и духовный упадок.

Но лимб стал тесен, и я решил его покинуть, чего бы мне это ни стоило. Первым шагом стала визуализация морской мечты — я живо, целыми днями возводил её каркас — читал интервью с моряками от издательств вроде «Изнанки», слушал Петра Налича, смотрел экранизации «Мартина Идена», который казался трепетно-наивно-очаровательным, — другими словами, впитывал материалы, творил периферию и наполнение каркаса до тех пор, пока моей первой мыслью поутру не сделались морской воздух, деревянная почва под ногами, неизбежные товарищи по кораблю и само судно как мобильная точка на исполинском плато океана.

Вторым стал самогипноз. Передо мной стояла предательская задача втиснуть себе веру, это пожизненное помутнение практического разума, вменить себе, как прохиндей-напёрсточник, убеждение, что моряком без высшего образования не бывать. Рассудок сопротивлялся навязанному действию, как тело барона Мюнхгаузена сопротивлялось собственной руке, — законы физики, здравый смысл, сама гравитация встали преградой, и но, наконец, я поддался.

Третьим — наиболее продолжительным, каверзным — шагом стало тихходное движение к близлежащим целям, кропотливое выполнение плана, освоение дисциплины — практика. Мне безбожно хотелось днями напролёт спать и брэнчать блюз, но обрётённая вера, как путеводная звезда, стала моей спутницей в немощном лимбе, крючок проткнул меня, не позволяя сорваться, и — делать нечего — я принялся за скучнейшую механику повторения. Ощущал я себя как галерный раб или, точнее, как предгалерный: пропуская через себя авгиевы объёмы информации, невольно осмысляя их и чувствуя над собой клешню социума, нависшую, как дамоклов меч. И но однажды, в одном из портовых городков, я проходил мимо местного бара с репутацией рыгаловки и приметил у входа двухметрового парня в чёрной бейсболке, футболке, шортах — словом, целиком чёрного — и в белом гипсе от стопы до колена, на двух костылях. Будучи падким на переработку нормальной живой действительности в поэтические образы, я цепко ухватился за него, утащил в мысленные недра его копию, чтобы позже, в моменты бессильных сомнений, вспоминать о нём. Я никогда не узнаю имени этого друга, но отныне со мной навсегда его поразительные воля, кураж и жизнелюбие. Тогда, в предвыпускной год, я, конечно, ещё не мог его видеть, но странное чутьё подсказывало о его существовании, словно мы были с ним знакомы в одной из прошлых жизней — и обязаны были когда-то встретиться в текущей. Я держался поставленного перед собой истязания одним этим заочным знакомством, этим пред-знанием, силой духа, задремавшей во мне, пробуя перенести работу сознания из туманного потенциала в реальную кинетику.

Чем больше я посвящался в предлагаемый лицеем минимум теоретических знаний, тем больше меня раздражали так называемые «признанные мастера» — своей непогрешимой, вымученной святостью, своим добытым кровью и слезами благодушным авторитетом, своей претензией на вечность и незабвение. В их почитании мне виделась хрестоматийная ошибка выжившего, коллективный, слишком человеческий страх перед смертью или лимбом, мягким её аналогом, прозопопейное, эгрегорическое помешательство — с тем мрачноватым дополнением, что мастер, приходит час, покидает нас, а созданное им непременно извращается, вырывается с суставом из контекста, пользуется в самых низких, скупердяйских, практических целях. *Кто-то* заявил, что автор умер, мы, как недееспособные опарыши, облобызали его гроб — с этой непреходящей тенденцией к лобызанию я никак не мог примириться, всё это казалось вальсом на костях, непрерывной профанацией и кошунством. Меня тошнило от экзистенциалистов, которых растащили либо растащат на цитаты домохозяйки и мои ровесники, — казалось, всем и каждому в этом мире находилось применение, прямое или назидательное, мало кому удавалось избежать участи быть использованным, и, чтобы ко мне на трапезу не слетались мотыльки, я был готов светить чернотой, анти-светом — но тогда я рисковал привлечь и анти-мотыльков... Этот малость нелепый цугцванг, в который я загнался, — как и многие подобные ему мысленные конструкции — всё это выступало лимбовыми терниями на моём пути к морским звёздам. Мне предстояло обрубить эти вырожденные мысленные лианы одну за другой, не теряя хватки, методично обрезать по зародышам листочков ростки своей гордыни, если я хотел — а я хотел — снова увидиться с Ней.

Мы не виделись с Ней вплоть до последнего сданного экзамена. Беседовали по телефону, смотрели вместе дистанционно мои фильмы о море, проникновенно молчали. Она не выдавала тревоги, пока в один вечер накопленное не пролилось само:

— Как ты себя чувствуешь? — Кротко начала.

(Как шут в железной деде)

— Как раньше.

— Почему ты не хочешь меня видеть?

Сразу перешла в наступление...

— Дело не в тебе, ты же знаешь. Мне нужно работать.

— И над чем ты там работаешь, долго ещё?

(Над собой, всю жизнь)

— ...

— Нельзя так со мной. Я скучаю...

— Тоже. Но представь, что я уже отучился и уехал в рейс, например.

Она тяжело вздохнула, и по динамикам хлестнула звуковая мишура вдоха-выдоха.

— Я не уверена, что мы справимся.

— Я уверен.

— Я знаю, что тебе нужны «времена для себя», как ты это называешь, но как же времена для нас? Для меня?..

...в общем, лимб не изолировал меня от внешней действительности подобно вакуумной барокамере или подземной парковке в Need For Speed при уходе от погони, напротив — пока я простаивал и был занят греко-римской борьбой с самим собой, со своей Тенью, мой наиболее ценный, приятный, знаковый, необходимый человек — Она — была окутана тоской отсутствия, подавленным ожиданием, меланхолией и хандрой. Тем остервенелее я лежал, когда Тень проводила удушающий захват, тем тягостнее был мой блюз, который никогда не будет записан или сыгран на сцене, ибо трель его, блажь его, суть его: провожать время в добрый путь, брать его взаймы на ничто, на горевание об иных способах его провести, навсегда вырубаемых гильотиной каждого наступающего момента; тем свирепее, неукротимее, фуриознее был каждый микро-триумф, когда удавалось подняться с кровати и сотворить что-нибудь объективно полезное.

Когда стало очевидно, что брат исчез, к нам, одна за другой, словно по намеченному коллективным разумом расписанию, стали захаживать его Очередные, чтобы забрать какую-нибудь оставленную вещь. Мы делили с ним комнату раньше, и в марафоне дней я безразлично наблюдал за вереницей Очередных, что вершили неспешный демонтаж декораций моего лимба, сыплющих солью сухие соболезные слова. Эта процессия, в конце концов, оставила комнату — не считая мебели, ноутбука и гитары — пустой. Так я остался наедине со своей интерьерной проекцией.

(Мой дом — моё отражение)

Иногда, когда переставал радовать даже блюз, когда время, которое я проводил во сне или полудрёме, устремлялось к двадцати четырём часам в день, когда барный парень на костылях считался обыкновенным алкоголиком, когда лимб казался единственной и вечной реальностью, я хотел просто перестать существовать, рассыпаться в атомарную пыль, нет, даже обернуться энергией, из которой состояли элементарные частицы моего тела, чтобы развеяться в пространстве ветром и больше никогда не думать и не чувствовать. Но — в эти моменты

надира, предельного уныния, когда меркла последняя мысленная звезда, когда вера становилась невесомой и лишалась меня, когда я Чувствовал Ничто, — возникал образ брата, который говорил что-нибудь вроде:

— Кто грустит — тот не забыт.

И Тень отступала. Вспоминались, как при платоновском узнавании, и Чоран, и Сенека, и Вейнингер, важность рутинных ритуалов вроде водных процедур, чувства и мысли, цели и навыки, родители и Она, музыка и море — механизмы организма стряхивали ржавчину и опенение и принимались за свою неведомую, параллельную моей извечную работу, собственную борьбу.

С приближением Рубикона экзаменов описанные внутренние баталии наращивали масштабы, как функция экспоненты, приобретая синусоидальный размах американских горок для эвтаназии, и лимб стал адом, и я стал совсем невыносим — настолько, что одним в особенности макабрическим вечером, впервые позволив себе как-то буквально огрызнуться на Неё, прервав видеосвязь, я пришёл к родителям с повинной и попросил записать меня к психотерапевту.

II

«I spit my poison to the priest who thinks his words can calm my soul»

Hydra Mane

— Знаете, доктор, шесть недель назад у меня умер хомяк, и всё это время я думаю, что в жизни больше нет смысла... Нет-нет, погодите, не в этом дело. На самом деле, после того, как я расстался с девушкой, мою жизнь покинули все краски, и я не могу ничем заниматься — даже есть. Вот, похудел на шесть килограмм... Тоже нет. Настоящая причина моего визита в том, что, хоть с гибели всей семьи в авиакатастрофе прошло шесть лет, я так и не нашёл своего места в жизни, моя личность до сих пор расколота — а также я постоянно борюсь с порочным желанием убивать... Ладно. Это тоже неправда.

— Тебе нравится лгать другим людям?

В этом кабинете, полном разнообразных вещей — стеллажи с книжками и брошюрками, антистресс-игрушки, просто игрушки — машинки и куколки — которые должны напоминать клиенту о детстве, отдалённом и забытом, размягчая и делая податливым для анализа, — в этом, в общем, кабинете я чувствовал себя почти как на литературных собраниях. Мой первый психотерапевт — худой мужчина в рубашке лососевого цвета и классических штанах в клеточку, очках тонкими прямоугольниками — испытующе, но так, чтобы это было малозаметно, рассматривал меня, как новый экспонат, — наверное, хотел спрессовать мой образ в новый предмет интерьера. Я сидел в широком и удобном кресле напротив него, на простом стуле.

— Мне в целом не нравится что-либо говорить людям.

— Почему?

(Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас)

— Потому что любые высказывания равнозначны симптомам.

Он чуть вскинул бровь и достал из кармана рубашки маленький блокнотик.

— Звучит... Внушительно.

— Это Чоран.

Из второго нагрудного кармана вытянул жёлтого цвета ручку.

— Давай поговорим о настоящей причине твоего визита. Твой отец говорил по телефону о смерти...

— Потере.

— Потере родственника, спасибо. Кем он был?

(Лучшим человеком из существующих и существовавших)

— Моим старшим братом.

— Расскажи о нём, пожалуйста. Вы ладили?

— Что вы хотели бы услышать?

— Только то, чем ты сам готов поделиться.

(Как брат с отцом на пару летали на дельтапланах, а мы с матерью стояли за ручку на земле и боялись; как брат переоделся в священника, нацепил накладную бороду, пришёл в начальную школу посреди уроков и стукнул кадиллом по макушке моего обидчика)

— Он был... мне дорог.

— Можешь продолжить?

— Могу.

Терапевт что-то черкнул в блокнотик. Помолчали, и здесь наполнение комнаты, наконец, растворило меня. Откровение проявилось само, как дагерротипный снимок:

— Брат ни разу не врал, не унижал меня, не поколачивал, как это бывает с сиблингами — он относился ко мне как ко второму вместилищу собственной души. Он показал мне мир таким, каким он должен являться, был... живым примером сверхчеловека, моим другом. Я чувствую себя сейчас, как сообщающийся сосуд без второго колена, как христианин на Марсе, оставленным — да как только я себя не чувствую. Вероятно, теперь я в депрессии, но вот так штука — смерть, с его уходом, больше попросту не имеет смысла.

— Ого. — Терапевт поднял бровь. — Ты действительно им дорожил. Вижу по твоей речи, что ты эрудированный молодой человек...

Здесь я пожалел о своей болтливости.

— ...однако не мог бы ты описать то же самое, но без метафор и терминов? Кажется, что они, как туман, скрывают что-то важное — например, ты не сказал, как к твоей потере отнеслась семья.

Ясно: он пробует разложить меня на типичные представления и травмы — мою боль, моё горе — по классической фрейдовской методичке. Это было столь же бестактно, сколь и омерзительно, и в целях психической самообороны я вспомнил Выготского и Личко и принялся его типировать:

— А вы верите в гороскопы?

— Я?

Впервые употребил личное местоимение по отношению к себе. Первое предположение: вероятный циклоид либо параноид, с лососевыми нотками истероидности.

— Да, вы.

— Кажется, это не похоже на ответ на вопрос о твоей семье.

— Что вы, доктор, — я позволил себе развалиться в кресле. — Это имеет прямое отношение к вопросу о моей семье — многострадальной, любимой семье.

Он, не подав виду, приготовился записывать.

— Начну с предыстории. Мы с братом оба сентябрьские девы, видимо, родители хорошо Новый Год встречают, и, значит...

Я лил чепуху, внимательно наблюдая за реакцией терапевта на каждое слово. Когда я говорил о футболе и алкоголе, его лицо приобретало еле заметный зелёный оттенок (бывший

либо действующий алкоголик или лудоман, вероятно аддиктоидная акцентуация); когда я как бы случайно переводил тему с настоящего времени на братово рождение или мою среднюю школу или семейные традиции, он едва заметно морщился (неприязнь к гипертимам, ещё один аргумент в пользу аддиктоидности); когда я упоминал Диогена Синопского и хохмы про него, он что-то записывал в блокнотик (рефлексоидная либо параноидная черта); когда я рассказывал о своей первой школьной симпатии, которая уехала в другую страну, он ювенально, как сенситив, поджимал губы; когда я устно заламывал руки и винил во всех своих бедах окружающих, он по-виктимоидному сочувственно кивал — и так далее, и тому подобное. К концу моей показной самоэкзекуции был готов его первичный портрет, возможные чувствительные точки, предположение о биографии, о том, почему этот шарлатан выбрал путь помощи людям...

— Так. — Прервал он меня на моменте, когда я рассказывал байки из жизни аскера. — К чему всё это?

— Я немного подкован в психологии, доктор, — признался я. — И, чтобы не паясничать, скажу, что отсканировал вас сейчас глубже, чем вы меня.

— Что вынудило тебя на этот шаг? — Терапевт сложил блокнот на коленях и поправил очки. — Ты не доверял мне? Почему?

А сам — достаточно профессионально, впрочем — скрывал смущение, гнев и какое-то неясное чувство.

— Я же говорил, любые высказывания равнозначны симптомам. Поступки тоже.

Он попал в мою ловушку: теперь он не мог делать или изображать что-либо, как и просто сидеть с отсутствующим видом.

— Чего притихли, доктор? — Я совсем обнаглел.

— Кажется, наш сеанс подходит к концу... — Бросил взгляд на настенные часы.

— Что вы, доктор, ещё целых семь минут! — Рассмеялся я. — Сегодня пятница, торопитесь куда-то?

— Мой досуг мало относится к нашей встрече.

— Нет-нет, вы неправильно поняли... — Я смутился, ведь он почти огрызнулся.

— Ладно, я скажу честно. Ты умный, начитанный и осознанный молодой человек, и ты прав — вряд ли обычный гештальт-подход, который я практикую, может помочь тебе смириться с потерей брата. Однако, чтобы не губить твой вполне ясный ум препаратами, я могу предложить тебе контакты коллег, вдруг вы друг другу подойдёте.

Здесь меня кольнул стыд за этот психоаналитический перформанс и, представив комиссию из психоаналитиков, качающих головами на конференции, где изучают мой вскрытый мозг, я отбросил эгоцентричные, гомерически-хохочущие над моей дальнейшей судьбой мысли и согласился:

— Давайте попробуем...

Так началось моё великое хождение по психотерапевтам. Одной полной блондинистой дамочке, едва закончившей институт психоанализа, я, закатив торжественно глаза, жаловался, что моё Я — лишь сумма прочитанных книг. С другим — лысым, похожим на строителя мужичком — мы на пару травили анекдоты, от души матерились и ни капли не приближались к разрешению моих душевных метаний. С третьей, коротко стриженной, чуть пожилой брюнет-

кой я пафосно, не стесняясь терминов и метафор, разглагольствовал — говорил что-нибудь вроде «процесс экзистенции снимает тождество между полагающим и полагаемым» или «нож утра отделяет плоть меня от кости кровати», получая в ответ ещё более пафосное изречение, и спираль могла так закручиваться бесконечно. Ещё одна лысая татуированная мадам — со стильным трайболом на всю лысину — вначале была мягкой и терпкой, как мята, но под конец сеанса не вытерпела моих буффонадных мини-перформансов, обернулась крапивой и выдала пассаж о проблемах белых людей, мужской гендерной социализации, токсичной моногамии и селфцесте — эта встреча показалась особенно потешной. Как-то попалась и Василина-2, удивительно похожая на оригинал внешне, которая заставила меня вести дневничок тревог, смутных мыслей и прочих *cognitive distortions* — я написал в него одно-единственное слово, «Бобок», и посчитал работу исчерпанной. Был ещё мужик буквально со шрамом на лице, как у Геральта из Ривии, с ним мы ни словом не обменялись за оплаченный сеанс — и т. д. и т. п. и пр... Всё это, конечно, было весело и интересно, но я постепенно успел окончательно отчаяться и постановить, что лет через двадцать, в тридцать семь лет, непременно *сгину* где-нибудь в глухой деревеньке, и пепел мой, удоблив почву, станет дубом и незабудками. Умирать своей смертью, казалось, уже не имело смысла, никто меня не понимал из живущих, даже те, чья работа — понимать, и оставалось одно — подобрать песню, под которую не стыдно свести с жизнью справедливые счёты (пусть этот процесс и занял бы минимум век).

Наконец, на своём последнем Очередном — молодом парне с ярко-синими волосами — я бросил Уловку-37, чтобы посмотреть на реакцию, и услышал:

— Вижу, что несмотря на полную семью и наличие девушки, ты довольно одинок, ведь так?

— Полную семью? — Связвил я, но задумался.

Говорили мы по видеосвязи.

— Я могу предложить тебе групповой сеанс, пока ты не решил не дожидаться зрелых лет.

— Групповой сеанс?..

— Да, следующий завтра. Без проповедей и навязывания, я буду только курировать. Приходи, слушаешь истории других людей — может, тебе это поможет.

Я снова был на крючке.

III

«Выходишь из зоны комфорта походкой лунной»

Данил Гордеев

Ярко-синеволосый паренёк, чуть ссутулившись, сидел в центре круга из двенадцати стульев и что-то печатал в телефоне. Стулья были почти пусты, и мы с Ней плюхнулись на случайно выбранную двойцу свободных.

В то воскресенье я едва не проспал, если бы Она, спустя пять непринятых звонков, не догадалась за мной зайти — мы условились пойти вместе, и пришлось соврать о Её проходящей маниакальной фазе, чтобы Ей выделили местечко. Обстановка напоминала приход католической церкви — с той разницей, что здесь было теснее, не было росписей и мозаик, однако витал неопознанный Дух, общий для всех fool-houses.

На расстоянии трёх стульев по часовой стрелке от меня сидела стройная женщина среднего возраста, её глаза были невообразимо печальными, не космо-стоически печальными, как у Сократа на казни, нет — в её тоске, которая заняла и два места по краям — настолько это чувство было через край телесным и осязаемым — в её, в общем, тоске мне, как наяву, привиделись мои личные пепел, дуб и незабудки, моя собственная тоска. По правую руку от Ней — по какой-то неведомой броуновской причине мы сели к нему вплотную — скучал, нервно шевеля пальцами, парень, которого я бы описал как wannabe rockstar — отросший белобрысый ёжик волос, тёмные очки с круглыми линзами, повисшие на рубашке, расстёгнутой на пуговицу, тату равностороннего треугольника на левом предплечье. Понемногу стулья заполнялись — я не рассматривал новеньких, воркуя с Ней о чём-то. Кажется, мы придумывали вместе Её речь, чтобы звучало органично, натурально и идентично реальному — пока, наконец, круг стульев не оказался заполнен на 10/12, и ярко-синеволосый не провёл краткое открытие собрания, которое вынудило меня чуть съёжиться. Я и так пришёл сюда просто для развлечения, от некуда деваться, от дыры в груди в форме Бога, прости Господи, от желания как-то провести с Ней редкое совместное время, а он сказал:

— Повторите за мной. Торжественно клянусь, что таю в сердце правду и только правду.

— Торжественно клянусь, что таю в сердце правду и только правду. — Прошелестела кавалькада голосов.

Впрочем, эта отсылка на *известно что* показалась мне настолько по-метамодернистски наивной, сколь и милой, что, преодолев лимонную сморщенность лица, я чуть запоздало добавил свой голос к общей полиреплике:

— Торжественно клянусь, что... буду говорить правду.

Моему голосу вторил Её, и, найдя в этом маленьком ритуале секундное единение, собрание официально началось:

— Значит, я на неё ору на кухне «Какого чёрта! У тебя герпес?!», а сын в это время с садика вернулся — самостоятельный он у нас — и смотрит, но при этом не плачет. Вот это было самым жутким — что он не плакал...

— Первые несколько «сто дней чистоты» я отмечала тем, что напивалась вдрызг...

— Я семью хотел, моральный человек был! А жизнь меня опрокинула...

— У меня бабка спилась, всегда навеселе была, а потом раз — и цирроз. Как-то приходил участковый с проверкой, и, как раз в этот момент, в сарае взорвался самогонный аппарат. Во смеху-то было!..

— Мой духовный отец покончил с собой, мой крёстный — ушёл из семьи. Обычного отца я не знала...

Бесцветные бестелесные голоса — как голос сознания за вычетом разделения тембра на женский и мужской — сменяли друг друга, как поезда на станции метро, а я стоял на этой метафорической станции, не ощущал Её руки в своей, как призрачной, и испытывал Столкновение с Реальностью — именно с двух больших букв — Столкновение неиллюзорное и небывалое, нежное и небесное. Последний раз я попал в это экзистенциальное ДТП тогда, когда отец произнёс те зловещие три слова о брате. Нетрудно представить, под насколько высоким давлением оказались мой картонно-бездонный лимб, мой никудышный блюз, моя эскапистская идея-фикс о море. В сердце коллективного паллиатива я мог похвастаться исключительно потерей брата.

— Что ж, твоя очередь, — вдруг обратился ко мне этот синеволосяй палач, этот серый кардинал, этот худший либо лучший после брата — пока не определил полюс — человек на земле.

— Кхм, да, — попытался начать я. — Ну. У меня был старший брат...

Все потерянные и заново найденные души сосредоточились на мне, все одиннадцать пар глаз, включая Её. Я было замялся от прикованных взглядов, от вероятных ожиданий, повисших цепями, но, вспомнив свой наивно-искренний, данный в начале сеанса обет, я прокашлялся и выдал:

— Он не издевался надо мной и, наверное, не умер, не подумайте. Просто он... был, и я не могу с этим смириться. Его нет сейчас, и я совершенно потерял, он будто меня испытывает, а я очевидно не справляюсь, раз даже здесь оказался. Я... Не знаю, — обратился я к собранию, — вы все прожили такие жестокие, такие травмирующие, такие полные жизни события, вас словно на подбор, как актёров, собрали, чтобы убедить меня в том, что я зажрался и раздул драму из снежинки в цунами, чтобы намекнуть на то, что я слишком молод, чтобы быть в настоящей депрессии. Но вам хочется верить, брат бы так и сказал — «слушай их» — и одно это держит меня от того, чтобы разрыдаться, а я не плакал ни когда он пропал, ни после. Его нет и, эээ, не будет больше. А я остался телом, из которого вынули органы. Вот, пожалуй, всё, что я хотел сказать.

Установилось давящее молчание, которое чуть погодя ярко-синеволосяй нарушил:

— Спасибо, что поделился. Теперь слово твоей спутнице.

— Я не знаю, как с ним обращаться. — Начала она, кольнув, и я весь превратился в слух; это не было похоже на заготовленную исповедь бывшей ночной бабочки в маниакальности. — Мы пока слишком юны, чтобы загадывать далеко, но мы выбрали, выбираем друг друга каждый день, и при том его личность, знаете... она как будто вытесняет меня, выталкивает куда-то за пределы доски. Я не хочу быть приложением для гения, знаете ли, я тоже личность, и пока он там решает, что делать со своей жизнью, пока тоскует из-за брата, я тоже страдаю в квартире наедине с матерью — от своих осязаемых, реальных проблем. Я не знаю, кого из нас двоих считать наибольшим страдальцем, поэтому страдаю в основном молча. Это то, что я хотела сказать.

— Хм... — Кардинал скользнул по мне и Ней понимающим взглядом. — Надеюсь, теперь вы друг друга слышали. А на сегодня у нас всё...

— Я не смогу тебя всю жизнь дожидаться, понимаешь? — Она едва сдерживала слёзы. Мы стояли на крылечке, мимо проходил сеансовый народец.

— Я... знаю. — Я вздохнул.

— И что будем делать?

— Я... не знаю.

Мы разминулись — Она отправилась страдать к себе молча, я — к себе, готовиться к выпускным экзаменам, играть блюз и спать. На большее я не был способен — сегодня Реальность обнажила клыки, впилась в моё слабосильное тельце и созрели, наконец, ягодки после цветочков.

IV

*«И вам не сорок, но вы в кителе
И вам не полтинник, но вы в петле»*

Мутант Ъхвлам

«Может ли человек быть в обиде на мир, не лукавя при том? Что таится за этим чувством — нет, не обычной обиды на другого или Другого — на пространство? Я полагаю, что вечность проиграла в борьбе жизни, но отыскиали компромисс, который никого не устроил. Не всякий — а на поверку далеко не всякий — рождённый желал бы быть таковым. На этом чувстве выброшенности в пространство зиждется фундаментальная, сакральная обида, о которой речь»

«Чувство чести, как рудимент, было тем славным пережитком, оглядываясь на которые в антропологическом порыве, понимаешь, что далее будет утеряно и утрачено всё — и любовь, и дружба, и вера, и сама жизнь»

«Когда все станут такими, как я, когда не станет Другого, и будет только одно Мы — тогда наступит либо новая, невиданная ранее заря человечества, либо, что вероятнее, его последний конец»

...и многие другие бесплодные, упаднические философствования, в которых я погряз после группового сеанса психо-исповедания. Я завёл новую тетрадь — ту, с единственным словом «Бобок», оставил, как есть, — и записывал каждый хотя бы минимально похожий на работу мозга мысленный пшик. Блюз и подготовку я совсем забросил, не отвечал Ей уже несколько дней. Мне вновь хотелось перестать существовать, рассыпаться в атомарную пыль и далее по списку — брат стал достоянием общественности, пусть немногочисленной и закрытой, и теперь считалось оскорбительным для памяти о нём взывать к нему; что уж говорить о любых других духовных костылях, воспоминаниях и поэтических образах. Я был совершенно покинут в довольно бедственном положении ненамеренной самоизоляции, бездна по ту сторону существования неотрывно глядела на меня, как на свой новый романтический интерес, и с той стороны дна стучались веды, псалмы, Харе Кришна, Да Святится Имя Твое и прочие эсхатологические напевы. Прижизненная смерть, последствия Столкновения с Реальностью — описания красноречивее слова в моей первой терапевтической тетрадке не выдумать, хоть я и пытался. Бесконечногранное великолепие жизни померкло, как досрочно сгоревшая лампа, и не было никого, кто бы его заново зажгёт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.